Проблемы, поставленные С.В. Мироненко, чрезвычайно важны, и в целом я разделяю его подходы. Ключевые вопросы сформулированы им так: «Какая же сила препятствовала поступательному развитию нашего государства, раз за разом мешая реализовать давно уже назревшие преобразования? В чём причина неудач российских реформаторов?».

Как и многие мои коллеги, я считаю, что в целом модернизация после 1861 г. развивалась успешно и к 1913 г. Россия в большой мере сократила то отставание от передовых стран Запада, которое фиксировалось в середине XIX в. Вместе с тем эти успехи, несомненно, были бы намного значительнее, если бы не категорическое неприятие модернизационной модели преобладающей частью элит (в том числе и большинством правительства) и их весьма активное сопротивление её реализации.

Ограниченность российской версии экзогенной модернизации особенно заметна при сопоставлении с её японским вариантом, который начал реализовываться несколько позже и уже через 35 лет зримо доказал свои преимущества на полях Маньчжурии и в Цусимском проливе. Напомню, что Япония в 1868–1873 гг. покончила со Средневековьем, упразднила сословное неравенство, провела аграрную реформу, выкупила землю у феодалов, сделала крестьян собственниками земли и предоставила полную свободу бизнесу, что в целом создало необходимые предпосылки для быстрого развития капитализма. Была введена всеобщая воинская повинность и принят закон о всеобщем начальном четырёхлетнем образовании и т.д. В начале 1880-х гг. появились первые политические партии, а в 1889 г. — Конституция и парламент¹.

Наша страна пошла другим путём. Если Япония воплощала в жизнь продуманную *программу* (здесь и далее курсив мой. — *М.Д.*) всесторонних и притом *радикальных* преобразований, то Россия лишь модифицировала, пусть и весьма серьёзно, многие, но далеко не все из ключевых аспектов своего бытия, за столетия не отважившись пройти и половины пути, пройденного японцами за пять лет.

Парадокс отечественного варианта состоял в том, что ни правительство, ни общество по многим причинам не желали перехода России от аграрного общества к индустриальному, который и составляет, как известно, суть модернизации. Значительная часть образованного класса страны вступила во вторую половину XIX в. со специфическим идейным багажом, важными компонентами которого были выраженные антикапиталистические и, соответственно, социалистические, а также антибуржуазные настроения, «антимещанство», антиевропеизм, неявная ориентация на автаркию и т.д.

Как ни удивительно, на первый взгляд, течение модернизации в России во многом определял именно этот смутный идейный багаж, а не объективные потребности развития страны, претендующей на роль мировой державы, поскольку

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00288.

¹ История Японии. В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 29–76. См. также: *Дацыйшен В.Г.* Новая история Японии. Красноярск, 2007. С. 113–134; *Дейноров Э.* История Японии. М., 2011. С. 552–615; *Севастьяев В.В.* Очерки истории Японии. От Токугава Иэясу до Хасимото Рюта-ро. Владивосток, 2008. С. 154–161; *Теймс Р.* Япония. История страны. М.; СПб., 2009. С. 178–190.

с общественностью во многом было солидарно и правительство. Соответственно, вопрос о том, как оно при этом собиралось возвращать и поддерживать статус великой державы, оставался (и остаётся!) открытым.

Напомню известную мысль Л.Е. Шепелева о том, что «капитализм как буржуазный общественный строй (т.е. в современном нам широком понимании этого слова) не мог быть непосредственной целью политики царского правительства по классовым соображениям и не был такой целью в действительности. Капиталистическая система хозяйства (но не система капиталистического хозяйства) — вот то единственное, что принималось правительственной политикой в качестве полезного элемента — средства достижения развития крупной промышленности в стране»².

Создание системы капиталистического хозяйства подразумевало ликвидацию сословно-тяглового строя, в том числе уравнильно-передельной общины, введение частной собственности крестьян на землю, юридическое уравнивание всех граждан вне зависимости от сословной и вероисповедной принадлежности и т.д. Российское общество, включая правительство, оказалось не готово к столь радикальным переменам. Зато в отторжении капитализма сходились и обитатели Зимнего дворца, и посетители явочных квартир. Неверно думать, что только революционные и либеральные народники (в традиционном понимании) ненавидели «царство чистогана» и мечтали о некапиталистическом развитии страны, — пусть и не для перехода к уравнительному социализму.

Капитализм со всеми атрибутами воспринимался в России как абсолютное зло и притом совершенно апокалиптически³. Подобное отношение — продукт всей русской истории и культуры в самом широком значении терминов, а его корни в первую очередь следует искать в наследии православия⁴; определённую роль сыграло также и то, что критика раннего капитализма в России была воспринята слишком серьёзно⁵.

² Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Л., 1981. С. 19.

³ Из множества мнений приведу лишь три наиболее показательных. В 1885 г. С.Ю. Витте(!) опубликовал статью «Мануфактурное крепостничество», в которой, в частности, призывал бороться с влиянием Манчестерской школы, «чтобы не уродовать духовно и телесно русский народ», который «выстрадал терпеливо крепостное право», но может не справиться с «новым рабством... [с] мануфактурным крепостничеством»: «Неужели необходимость увеличения отвлечённого “богатства страны” посредством развития русских мануфактур поведёт и у нас к ломке нашего исконного строя, к обращению хотя бы части русского народа в фабричных автоматов, несчастных рабов капитала и машин?» (Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. В 5 т. Т. 1. Кн. 1. М., 2002. С. 514–516). А один из «последних могикиан» Редакционных комиссий Н.П. Семёнов писал в 1896 г.: «Гнёт капитала невыносим для свободного духа человека. В сравнении с этим гнётом бывшая у нас крепостная зависимость крестьян представляется лёгкою (!!! — М.Д.), и если правительство думало бы когда-нибудь серьёзно вести Россию по пути, в конце которого стоит обнищание народных масс, то стоило ли бы поднимать столько хлопот для освобождения крестьян, чтобы променять путавшую их верёвку на железные цепи, надеваемые на настоящие рабочие руки эгоизмом и бездушием собирателей капитала?» (Семёнов Н.П. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. О будущем крестьянского сословия и России. СПб., 1896. С. 17–18). А велико ли было сущностное различие между взглядами левых народников и, скажем, Плеве, считавшего, что «имеется полное основание надеяться, что Россия будет избавлена от гнёта капитала и буржуазии и борьбы сословий» (цит. по: Вронский О.Г. Государственная власть Российской империи и проблемы формирования основ перспективного аграрного курса на рубеже XIX–XX вв. М., 1999. С. 44).

⁴ Данная проблема — ключевая для работы Й. Цвайнерта (см.: Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805–1905. М., 2008. С. 21–23, 32–34, 38–39, 167–188, 356–372; Керов В.В. Се человек и дело его... Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства. Изд. 2. М., 2016. С. 344–368).

⁵ Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1997. С. 487–521.

Во многом отсюда вытекает едва ли не главный парадокс пореформенной истории России — глубокое несоответствие между уровнем геополитических амбиций элит и теми средствами, с помощью которых они пытались эти амбиции реализовывать. Я имею в виду тот факт, что имперское правительство, стремившееся играть одну из ведущих ролей на международной арене, упорно сохраняло вынесенные из эпохи гладкоствольной артиллерии представления об основах мировой политики, о том, что такое статус великой державы и каким образом он поддерживается в индустриальную эпоху. Оно трудно уходило от привычной системы взглядов крепостной эпохи и плохо понимало, *что* такое соревнование наций в эпоху невиданного технического прогресса. Это же в полной мере относится и к большинству представителей образованного класса страны.

Общеизвестно, что промышленность после 1861 г. развивалась недостаточно для отвлечения из деревни огромного прироста населения. Однако в литературе об этом уже свыше 100 лет сообщается как о некоей априорной данности, вроде господства континентального климата на большей части Европейской России. Между тем оба феномена имеют вполне «рукотворный» характер. Слабое развитие промышленности — это не приговор истории Российской империи, а закономерное следствие *осознанной* торгово-промышленной политики правительства. Эта политика, в частности, не предполагала предоставления бизнесу полной свободы, подозрительно воспринимала иностранные капиталы и множеством архаичных ограничений затрудняла образование новых предприятий, о чём мы немало знаем⁶; при этом община, ограничивавшая, в числе прочего, свободу передвижения крестьян, продолжала тормозить образование рынка свободной рабочей силы и после 1861 г. В то же время демографический взрыв — в большой мере результат действия созданного реформой и искусственно поддерживавшегося до 1906 г. общинного режима, поощрявшего рождаемость.

Власть свыше четверти века делала явно недостаточно для развития современной индустрии и вплоть до 1906 г. практически ничего не предпринимала для интенсификации сельского хозяйства, прежде всего крестьянского (в стране, где было 80% сельского населения!). И это говорит о недостаточной квалифицированности правительства, оказавшегося не на высоте поставленных им же задач, не сумевшего или не захотевшего понять, какими средствами в рассматриваемую эпоху борются за мировое лидерство. Даже в тех ограниченных рамках, в которые были поставлены производительные силы страны после 1861 г., имелась возможность сделать намного больше.

Сумма имеющихся фактов показывает, что у российских элит попросту не было сколько-нибудь ясного понимания необходимости осмысления и решения этого пласта проблем. Так, реальная история пореформенной индустриализации демонстрирует отсутствие у власти в течение 1860—1880-х гг. должной энергии и стратегического видения в подобных вопросах. Об обществе и говорить не приходится.

Бесконечным обличениям капитализма и индустриализации в печати всех цветов идейного спектра соответствовала невнятная торгово-промышленная политика государства. Это подтверждается, в частности, почти трагикомическими перипетиями становления производства рельсов и подвижного состава

⁶ Шенелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. С. 193—253; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 67—122.

в России⁷. В свете данной информации не случайно, что во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Россия, в отличие от Турции, оказалась не только без современного флота, но и без дальнобойных стальных пушек, а из пехотинцев лишь каждый пятый имел усовершенствованную винтовку «бердан № 2»⁸.

Едва ли не самым ярким примером косности и инертности правительства и отечественного бизнеса, их неумения оценивать очевидные перспективы развития является история возникновения Донецко-Криворожского бассейна, превратившего Новороссию в динамический центр отечественного народного хозяйства и сыгравшего ключевую роль в промышленном подъеме 1890-х гг. и индустриализации страны вообще. Совокупность имеющихся данных позволяет утверждать, что этот объект мог появиться, по меньшей мере, на 10 лет раньше, и тогда судьбы дореволюционной индустриализации (и не только!), безусловно, могли быть иными. Ведь речь шла всего лишь о том, чтобы проложить 400 км железнодорожного полотна в степи и построить мост через Днепр в Екатеринославе. Трудно представить, чтобы во второй половине XIX в. в любой из ведущих стран мира такая несложная с технической точки зрения задача решалась бы свыше десяти лет⁹. Однако проблема заключалась не в производственных трудностях, а в неспособности правительства осознать особую важность принятия данного решения. Схожих примеров – пусть и не столь масштабных – множество. Легко представить также, что, будь в то время на вершинах власти люди, подобные С.Ю. Витте, эта ситуация, возможно, разрешилась бы иначе.

Модификация во многом устарелого торгово-промышленного законодательства шла трудно и тяжело. В результате в начале XX в. Россия не только не стала страной с полной свободой предпринимательства, но, напротив, и правительство, и Дума не слишком задумывались о повышении российского промышленного потенциала накануне первой в истории человечества тотальной войны. Думское большинство, например, на пике промышленного подъема 1909–1913 гг. постоянно беспокоилось о том, что необходимо сдерживать «чрезмерное развитие частной промышленности и её укрепление»¹⁰. Накануне Первой мировой войны правительство вошло в новое прямое столкновение с бизнесом, однако реакция последнего оказалась столь резкой и острой, что оно вынуждено было пойти на попятный¹¹. Ситуация вокруг 18 апреля 1914 г. делает несколько понятнее контекст антиправительственной деятельности таких миллионеров, как А.И. Коновалов, М.И. Терещенко и иже с ними, хотя, разумеется, никак её не оправдывает.

Однако и проблемы аграрного развития страны, как известно, решались отнюдь не в модернизационном ключе. Очень важную роль в этом сыграл своеобразный симбиоз социального расизма и политического инфантилизма российских элит. Не думаю, что можно всерьёз оспаривать тезис о том, что по меньшей мере с XVIII в. дворянство, а затем и образованная часть населения в целом не воспринимали крестьянство как полноценного и равноправного социального партнёра, а, проще говоря, считали низшей категорией человечества, что

⁷ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте–Столыпина. СПб., 2016. С. 259–282.

⁸ История СССР с древнейших времён до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. V. М., 1968. С. 250.

⁹ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 282–308.

¹⁰ Цит. по: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-промышленной политики. Л., 1987. С. 154.

¹¹ Там же. С. 144–174.

совершенно естественно вытекало из векового господства крепостничества¹². Данное отношение вполне подпадает под термин «социальный расизм».

Не обсуждаю такие проявления вновь возникшего после 1861 г. «стокгольмского синдрома», как «народобожество», «народопоклонство», «стремление слиться с народом» и прочие характерные симптомы растерянности общества, привыкавшего к новой жизни.

Социальный расизм и до, и после 1861 г. был своего рода психологическим фундаментом принятия большинства решений, связанных с крестьянством. Я вполне разделяю мнение Мироненко о роковом влиянии на судьбу России непонимания реформаторами необходимости скорейшего создания слоя крестьян-собственников.

Уравнительно-передельная община по ряду причин ещё до реформы 1861 г. стала мифом национального самосознания и воспринималась как залог самобытного развития страны¹³. Её переформатированный в 1861 г. вариант, на множество изъянов которого Редакционным комиссиям ещё в 1860 г. указывали члены губернских комитетов второго приглашения¹⁴, правительство искусственно поддерживало в ущерб духу, а затем и букве Великих реформ вплоть до начала XX в., с полного одобрения общественности всех цветов политической радуги.

Однако достаточно на шаг, в сущности, отойти от привычных нам со школы рамок и попытаться оценить общинные симпатии русского общества в более широком контексте, чтобы понять, как они характеризуют последнее. Вдумаемся: большинство образованных людей страны, в том числе и мечтавших о парламенте, во второй половине XIX – начале XX в. (т.е. в эпоху дредноутов, подводных лодок, азбуки Морзе и аэропланов) выступало – неважно, под какими лозунгами – за то, чтобы 80% населения находилось в средневековой по типу принудительной организации, которая держит людей в зависимости, подобной феодальной, и лишает их ключевых прав – собственности и свободы передвижения. Какими глазами это общество смотрело на окружающую действительность? Как оно оценивало перспективы развития своего государства, если идея предоставления крестьянам права частной собственности на обрабатываемую землю, которое повсюду являлось основой цивилизованного порядка и благосостояния населения, в России громадным большинством людей, умевших читать, воспринималась как ересь, угрожавшая самобытному развитию страны? В каком веке жила *их* Россия?

Социальным расизмом была насквозь проникнута, в частности, ставшая в 1880–1890-х гг. весьма популярной идея огосударствления надельной земли, т.е. отмены выкупа и превращения выкупных платежей в оброчную подать. Н.П. Семёнов писал, что если понизить величину этой подати, то *«крестьяне останутся довольны этой облегчающей их переменой, и она пройдёт тем незаметнее, чем значительнее будет возможное понижение для них платежей, ибо наш крестьянин предпочитает всегда ближайшую и непосредственно представляющуюся*

¹² Напомню, что это одна из постоянных тем публицистики, в частности, Ф.М. Достоевского.

¹³ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 27–35.

¹⁴ Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т. 1. Бонн-на-Рейне, 1862. С. 811–814.

ему выгоду — отдалённым, хотя и большим выгодам, для него неосязательным»¹⁵. Ему вторили весьма и весьма многие, в том числе и известный либерал К.Д. Кавелин¹⁶.

Нельзя не заметить, что в такой примерно «семёновской» тональности энтомологи пишут о сообществах насекомых, о «социальной» организации муравейника или термитника. Несложно, думаю, понять, чем вызвано то нескрываемое пренебрежение к крестьянам, которое мы видим в этих строках. Но ведь число подобных строк, написанных его современниками, причём придерживавшихся противоположных политических взглядов, умножить легче лёгкого!

Между тем правительственная политика, основанная на искусственной поддержке общины¹⁷ как структуры, якобы ограждающей Россию от появления пролетариата, обеспечивающей крестьянам прожиточный минимум, а стране — политическую стабильность, как раз усиливала пролетаризацию деревни и тормозила прогресс в аграрной сфере (о том, что власть из соображений, весьма далёких от государственных, до начала строительства Транссиба препятствовала переселению крестьян, равно как и эмиграции, можно и не упоминать)¹⁸. Естественным следствием такой политики стал кризис аграрного перенаселения в ряде губерний, прежде всего расположенных между Волгой и Днепром, начавший, впрочем, преодолеваться ещё до аграрной реформы П.А. Столыпина¹⁹.

Не нужно специально пояснять, насколько важна в контексте рассматриваемой проблематики сфера правосознания. На протяжении большей части пореформенной эпохи мы видим идущее из предшествовавшей истории и определённо недостаточное «уважение к праву», которое Б.Н. Чичерин считал первым и необходимым условием «разумного и прочного устройства государственного быта»²⁰. Это неуважение, в сущности, не слишком удивительно для страны, в законодательстве которой понятие о частной собственности появилось только во второй половине XVIII в., и которая лишь в 1830-х гг. обрела, наконец, Свод законов.

Это отдельная огромная тема, и сейчас я могу лишь перечислить некоторые важные, на мой взгляд, моменты. Как известно, наша история подтвердила банальную, но от того не теряющую актуальности истину: люди, не имеющие

¹⁵ Семёнов Н.П. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Выводы и заключение. СПб., 1894. С. 65.

¹⁶ См.: Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны...

¹⁷ С.Ю. Витте раскрывает казуистический механизм использования Сенатом недостаточно проработанных мест «Положения 19 февраля 1861 г.» в целях укрепления общинного режима, показывает, каким образом временные ограничения отдельных крестьянских прав, неизбежные в момент освобождения, становились постоянными, укрепляя крепостническую составляющую крестьянской жизни (Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу. СПб., 1904). Характерно замечание К.Ф. Головина о том, что «Сенат своими толкованиями много содействовал укреплению мирского начала. Всего более, конечно, эта склонность была присуща второму департаменту, где усердным и зорким стражем полной сохранности общины был обер-прокурор Хвостов... Николай Алексеевич был твёрдо убеждён, что мирское владение — один из верных устоев русского государства и прикасаться к этому устою он не позволял. Помню, как он часто мне говорил, что одна община нам, помещикам, обеспечивает полевых рабочих, которых не хватило бы при подворном заселении... Как бы то ни было, Сенат сослужил России сомнительную службу своими толкованиями, сплошь и рядом заменявшими простую интерпретацию настоящим законодательствованием» (Головин К.Ф. Мои воспоминания. 1881—1894 гг. Т. II. СПб., 1910. С. 245).

¹⁸ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 736—738; Бруцкус Б.Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 70.

¹⁹ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 322—344, 802—807.

²⁰ Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. В 3 т. Т. 3. М., 1898. С. 310.

своей собственности, никогда не будут уважать чужую. Поэтому огромная вина и правительства, и общества состоит в том, что после 1861 г. они даже не думали и тем более не пытались изменить отношение крестьян к собственности. А какие представления о ней и правах крестьянство могло вынести из крепостной эпохи, если оно само являлось чьей-то собственностью и было фактически бесправным? Между тем такие представления не появляются, условно говоря, по «декрету Совнаркома», они формируются длительное время.

Великая реформа была, по сути, реквизицией, т.е. оплачиваемым видом экспроприации, и крестьяне оценивали её в рамках своей системы мировосприятия. Задолго до эмансипации они не сомневались, что земля должна принадлежать им. Однако, получив в 1861 г. только часть помещичьей земли, они были свято уверены, что вскоре царь снова «прирежет» им этой земли или отдаст её целиком (ведь население увеличилось!)²¹. Однако правительство до 1906 г. ничего не сделало для того, чтобы поколебать эти воззрения крестьянства (манифесты не в счёт!). Более того, оно де-факто действовало ровно в обратном направлении.

Во-первых, отмечу, что крестьянство и до 1861 г. как бы обитало на отдельном «материке», было обособлено от остального населения в правовом отношении, и по логике модернизации такое положение требовалось ликвидировать. Однако эта обособленность со временем едва ли не увеличилась, причём правительство это делало сознательно. Реформа 1861 г. создала в стране две категории населения, живших в разных правовых режимах: меньшая часть довольствовалась десятым томом «Свода законов», а преобладавшая жила по обычаю. Первые могли жить (и жили!) так, как считали нужным, пользовались полной свободой и, в частности, обладали правом недвижимой и движимой собственности, а вторые были прикреплены к земле, считались неспособными владеть частной собственностью, ограничивались в передвижении и опекались правительством. Да, разумеется, общее правосознание проникало в крестьянскую среду, но значимость этой диффузии не стоит преувеличивать — речь шла всё-таки о значительном меньшинстве сельских жителей.

Во-вторых, необходимо понимать, как повлияла на правосознание крестьянства созданная реформой 1861 г. новая реальность. В литературе определённого идейного сегмента очень популярны рассуждения о том, что Столыпинская аграрная реформа расколола крестьянство и усилила напряжение в деревне. Можно подумать, что до 1907 г. деревня была воплощением социального мира и справедливости! Например, кровавая волна переделов 1880-х гг. обвинителями Столыпина не замечается. Может быть, им стоит перечитать внимательнее официальные источники или труды Г.И. Успенского и Н.Г. Гарина-Михайловского?

Реформа 1861 г., «прикрепостившая» крестьян к новой уравнительно-переделной общине, создала систему самоуправления, которая как будто специально испытывала несовершенство человеческой природы и определённо стимулировала в людях проявление отнюдь не лучших их качеств²². Источники содержат громадное количество примеров правовой анархии и произвола, процветавших в деревне после 1861 г. и нарушавших элементарные человеческие представления о справедливости.

²¹ Насилие, произведённое Александром II над принципом частной собственности в 1861 г., бесследно не прошло.

²² Имеющаяся в источниках информация относится не к 100% общин на территории Восточно-Европейской равнины, но к значительной их части.

В 1906 г. В.И. Гурко сетовал, что оправдались опасения противников общины, утверждавших, что она не позволяет укорениться в сознании народа понятие о неприкосновенности чужой земли. Но, продолжал он, это и неудивительно на фоне того, что «до сих пор существуют лица, научно образованные, которые утверждают, что земли общинного владения составляют не собственность крестьянских обществ, а состоят лишь в их пользовании. Даже произведённые за землю выкупные платежи они не признают достаточным основанием для признания крестьян полноправными владельцами этих земель, утверждая, что выкуп установлен был не за землю, а за те повинности, которые обязаны были нести крестьяне в пользу помещика или государства. При таких условиях нечего удивляться, что у крестьян отсутствует понятие о праве собственности. Ему поистине неоткуда было взяться»²³.

Гурко безусловно прав, однако у крестьян хватало и собственных впечатлений на этот счёт, помимо мнения «лиц, научно образованных». Достаточно вспомнить, что выкупные платежи за землю крестьяне платили в соответствии с размером выкупаемого ими участка, и поэтому с каждым годом они приобретали всё большее и большее право на выкупаемую землю, чтобы в момент завершения выкупной операции стать её собственниками. Однако, если до окончания выкупа происходил общий передел, а он имел место в $\frac{2}{3}$ общин, и надел крестьянина уменьшался (например, из-за изменения численности семьи), то тем самым община несправедливо экспроприировала у него ту идеальную долю собственности, которую он уже приобрёл многолетними выкупными платежами²⁴. Получалось, что крестьянин все эти годы выкупал землю не для себя, а для чужого человека.

А можно ли оценить иначе, чем вопиющую несправедливость, например, тот факт, что крестьянин, опять-таки выкупавший землю 10, 20, 30 лет, при переселении в другое место или продавал землю тайком задёшево, или терял всё, за что он платил, и его земля даром доставалась соседям по общине?

Из-за круговой поруки недостаточно крепкие хозяева получали «нередко менее того количества земли, на которое они имеют право; вдовы, с малолетками или юношами-сыновьями, почти всегда обижены при разделе земли; земля лучших качеств тоже достаётся более зажиточным крестьянам»²⁵. В частности, участники комиссии П.А. Валуева в 1873 г., сенатор С.А. Мордвинов, ревизовавший в начале 1880-х гг. Воронежскую и Тамбовскую губернии, Министерство внутренних дел в 1887 г., а также множество современников в разных выражениях высказывали схожие мысли о частых неправильных и несправедливых приговорах сельских сходов, не ограниченных никаким законом и руководимыми только произволом. У современников это не вызывало удивления, поскольку дела на сходах зачастую вершили отбросы «общества», а без водки редко обходились не только сельские и волостные сходы, но и отправление правосудия²⁶.

Непременный член Рязанского губернского присутствия Н.В. Протасьев отмечал: «Если бы представитель полиции при принудительном взыскании

²³ Гурко В.И. Отрывочные мысли по аграрному вопросу. СПб., 1906. С. 46.

²⁴ Герье В.И. Второе раскрепощение крестьян. Общие прения по Указу 9 ноября 1906 г. в Государственной думе и в Государственном совете. М., 1911. С. 5.

²⁵ Бржецкий Н.К. Недоимочность и круговая порука сельских обществ. СПб., 1898. С. 412; Билимович А.Д. Крестьянский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Киев, 1904. С. 44–54.

²⁶ Там же. С. 230.

(недоимок. — *М.Д.*) допустил десятую долю того произвола и того разорения, которое у всех на глазах допускается самодетельным миром, то для такого полицейского чина не нашли бы подходящей скамьи подсудимого, а мужицкий “мир” творит всё это безнаказанно»²⁷.

Сенатор Мордвинов говорил, что крестьянин, «не находя защиты против притеснения сильного, как своего односельца, так и начальства в разных его видах... *должен окончательно потерять веру в правосудие*, в правительство и в представленное ему Положением 19 февраля 1861 г. самоуправление»²⁸, т.е. в основы своего бытия! «Всюду замечаемое нравственное одичание крестьян, — писал П.П. Дюшен, — несомненно, происходит от разлагающего влияния мирских порядков. Подчиняясь роковой власти, крестьянин внутри своей души не может признать безобразный мирской приговор правильным и, сознавая свою беспомощность, начинает верить в господство зла»²⁹.

Наивно думать, что подобные явления проходили бесследно для мировосприятия народа. У меня нет иллюзий относительно уровня правосознания крестьянства, вышедшего из крепостничества, однако полагаю, что за пореформенные десятилетия у большинства крестьян этот уровень, как минимум, не вырос и что психика миллионов крестьян, безусловно, была исковеркана подобным общежитием. Так повседневность общинной жизни обретала воистину метафизические масштабы.

Напомню о феномене «социализма департамента», без которого невозможно понять аграрную политику правительства России³⁰. Глубокое внутреннее родство русского крепостничества и новейшего социализма гласно установил ещё барон Гакстгаузен³¹. После 1848 г. все новейшие западные экономические доктрины, к которым так трепетно относилось русское общество, были «замешены» на социализме и, соответственно, требовали активизации участия государства в социально-экономической жизни. Однако, если на Западе правительства нужно было подталкивать в данном направлении, то в России этого совсем не требовалось. Социализм (разумеется, в варианте О. Бисмарка, а не К. Маркса) не слишком тайно исповедовался российской бюрократией. Это было вполне в духе времени, но в данном контексте привычная вековая патерналистская схема управления страной вдруг обретала иной и как бы более значительный смысл, не говоря о симпатичном антураже. «Бисмарковский» подход к социализму, адаптированный к российской специфике, был весьма привлекателен для тогдашней бюрократии, поскольку открывал для неё принципиально новые возможности для усиления своей роли в стране.

Более того, бюрократия и считала, что реализует этот подход в повседневной аграрной политике. На деле это было равнозначно недвусмысленному усилению официального патернализма, который подавался как возвращение к традиционным «духовным скрепам» и проч., однако имел куда более современную идейную упаковку. Чего стоит брошенное Витте замечание о том, что «после проклятого 1 марта реакция окончательно взяла верх», и «община сделалась излюбленным

²⁷ Там же. С. 240.

²⁸ Там же. С. 230–231.

²⁹ П.Д. (Дюшен П.П.) Русский социализм и общинное землевладение. М., 1899. С. 99–100.

³⁰ Давыдов М.А. Крепостническое мышление российского пореформенного общества и уравнительно-передельная община (к постановке проблемы) // Вестник РУДН. Сер. История России. 2013. № 1. С. 15–18.

³¹ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 28–30.

объектом Министерства внутренних дел по полицейским соображениям, прикрываемым литературою славянофилов и социалистов»³².

Об этом недвусмысленно писал В.И. Гурко: «С этого дня (17 октября 1905 г. — М.Д.) мы стали на тот путь, по которому шли все государства Западной Европы. Тот *государственный социализм*, которым в течение долгого периода проникнуты были многие начинания нашей законодательной власти, а в ещё большей степени многие из принимаемых правительством мер в порядке управления, *должен уступить место предоставлению широкого простора самодеятельности и предприимчивости отдельных лиц*.

Мы должны отказаться ныне от мысли равномерно поднять благосостояние всей массы населения, но зато обязаны облегчить отдельным лицам возможность развить все свои природные способности и тем увеличить свои материальные достатки... Тот государственный социализм, который мы преследовали, та опека, которую мы установили над массою населения в целях поддержания её хозяйственного быта и оберегания её отдельных членов от перехода в разряд пролетарных рабочих, на деле превратились отчасти в административный произвол, а в ещё более значительной степени в препону для повышения благосостояния наиболее предприимчивой части населения. *В надежде обеспечить каждого хотя бы малой долей земельного имущества мы обрекли всех на нищету и недоедание, причём не достигли и первой цели*, так как число безземельных с каждым годом всё возрастало»³³.

Полагаю, что под политикой «государственного социализма» Гурко имел в виду аграрную политику Александра III и Николая II в комплексе — не только уменьшение налогового бремени крестьян путём понижения выкупных платежей (и их последующей рассрочки), отмены подушной подати, прощения недоимок, помимо продовольственных, но и контрреформы, и фактически безвозмездную продовольственную помощь (Столыпин, напомним, в связи с этим говорил 9 ноября 1910 г. о «развращающем начале казённого социализма»).

Следствием такой политики, явно не укреплявшей правосознание народа, стал быстрый и мощный рост иждивенческих настроений последнего. При этом сформированную крепостнической эпохой психологию крестьянства это не поколебало и не могло поколебать, ибо бесплатная продовольственная помощь — дар Царя-батюшки — вполне вписывалась в то, что мы привычно именуем «царистскими иллюзиями» русского народа, с той лишь разницей, что «царский паёк» был вполне осязаем.

И тем не менее модернизация шла успешно. Все указанные выше (равно, как и оставшиеся за рамками текста) препятствия на её пути не могли сдержать естественного хода жизни, начавшего изменение коллективной психологии жителей России. И неслучайно именно тогда, когда правительство начало проводить преобразования, связанные с именами Витте и Столыпина, во многом игнорируя отмеченные настроения общественности и яростную критику ею реформ, Россия превратилась в одну из самых динамично развивающихся стран мира.

В ходе модернизации Витте—Столыпина, которая в определённом смысле может трактоваться как «*модернизация вопреки*», страна в конце XIX — начале XX в. имела первый в мире среднегодовой темп промышленного развития, равный 6,65%, начала успешную аграрную реформу, не имевшую аналогов в мировой истории и ставшую началом разрыва многовековой патерналистской традиции,

³² *Витте С.Ю.* Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. СПб., 2003. С. 42.

³³ *Гурко В.И.* Указ. соч. С. 38—41.

поскольку была основана на предоставлении крестьянству общегражданских прав. Реформы быстро и радикально начали менять облик страны. Благополучие населения повышалось, чему есть множество свидетельств. В числе прочего выяснилось, что *вековая антирыночная психология отнюдь не является синонимом вечности*, и в ходе удачных, эффективных преобразований она может успешно преодолеваться во *всех* социальных стратах³⁴, хотя было ясно, что процесс этот не быстрый. При этом по мере того, как число ходатайств о землеустройстве перерывало через очередной миллион дворов, а продажи Крестьянского банка — через очередной миллион десятин, позиции традиционалистов размывались всё больше и переставали восприниматься всерьёз.

Однако к 1917 г. этот процесс только начал по-настоящему разворачиваться. Русская революция явилась следствием не «провальной», как долго считалось, модернизации, а проигрываемой Первой мировой войны. Поражение в ней само по себе — достаточная причина для революции и не является решающим аргументом при оценке успеха или неуспеха предшествовавшей модернизации страны. Обоснованность этой точки зрения подтверждается, в частности, крушением Германской и Австро-Венгерской империй в 1918 г., благоприятный исход модернизации в которых сомнению не подвергается.

С 1917 г. Россия начала пожинать полной мерой плоды близорукой политики элит, предпочитавших десятилетиями держать крестьян, цитируя Витте, в «стадных понятиях и стадной нравственности»³⁵, препятствуя укоренению у них цивилизованного взгляда на собственность. Стоит ли удивляться тому, что крестьяне не выдержали испытания возможностью безнаказанного мародёрства? Что здесь за несколько лет могли всерьёз изменить реформы Столыпина?

Приход к власти большевиков не просто заморозил указанные выше настроения, но сделал их частью государственной идеологии, в том числе с помощью массового террора и геноцида. Поэтому я не могу вполне согласиться с тезисом Мироненко о том, что в нашей стране назревшие преобразования тормозятся «раз за разом», хотя с внешней стороны это выглядит именно так. Данная мысль уравнивает Великие реформы, события 1917 г. и постсоветский период российской истории (вместе с перестройкой, разумеется). Я же вижу лишь одну, «чистую» попытку модернизации, предпринятую во второй половине XIX в., о которой сказано выше. Ситуация 1917 г., на мой взгляд, таковой не являлась. Страна, находящаяся в состоянии проигрываемой тотальной войны, которая к тому же после отречения Николая II лишилась привычной для 160 млн жителей конструкции мироздания, в центре которой была фигура императора, — априори сомнительный объект для успешного реформирования, тем более социального. Это и подтвердил весь ход событий февраля—октября 1917 г.

Думаю, что неудача реформ 1990—2000-х гг. была предопределена всем предыдущим ходом советской истории, в том числе её весьма жёстким антисобственническим, антирыночным характером, ещё сильнее зацементировавшим отмеченные тенденции. Постсоветские реформы лишь подтверждают — на новом, конечно, уровне, в иную историческую эпоху, — основные выводы, которые позволяет сделать история пореформенной России: качество «человеческого материала» является определяющим фактором любых преобразований. Прошедшая после распада СССР четверть века вполне позволяет судить о том, каких достижений в этой сфере добилось «государство рабочих и крестьян».

³⁴ Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны... С. 802—826, 936—961.

³⁵ Витте С.Ю. Из архива С.Ю. Витте... Т. 1. Кн. 1. СПб., 2003. С. 313.

Итак, главную причину неудачи реформаторства я вижу в непреодоленном по ряду причин культурном наследии прошлого – в антирыночной и одновременно патерналистской психологии, потому что патернализм противоположен рыночной свободе и либерализму. Другими словами, у нашего народа за полтора века после 1861 г. не было полноценной возможности измениться.

Патернализм, исходящий из тезиса о неспособности подданных («подвластных» и т.д.) к рациональному мышлению и самостоятельному принятию целесообразных и эффективных решений, в силу чего ключевые вопросы бытия за них должен решать кто-то другой, тот, кто в данной системе координат считается более компетентным, веками был и, увы, остался неотъемлемой и весьма органичной частью сознания большинства жителей России вне зависимости от социального положения. Разумеется, он не мог и не может быть отменён механически. Помочь здесь могут только время, во-первых, и настойчивые и постоянные усилия правительства, во-вторых; разумеется, есть и, «в-пятых», и «в-десятых». Но для этого необходимо изменение сознания элит, а им, как показывает наша история, совсем не просто отойти от крепостнических стереотипов и привычек.